

РУССКАЯ
РОМАНТИЧЕСКАЯ
НОВЕЛЛА



Николай Алексеевич Полевой

Блаженство безумия

Николай Алексеевич Полевой (1796–1846) — критик, теоретик романтизма, прозаик, историк, издатель журнала "Московский телеграф" (1825–1834).

В книге "Русская романтическая новелла" собраны яркие образцы беллетристики первой половины XIX века, произведения как известных, так и забытых писателей. Романтическая новелла представлена несколькими жанровыми разновидностями (историческая, светская, фантастическая, новелла о судьбе художника). Знакомясь с книгой, читатель не только будет увлечен яркими сюжетами, но и узнает о том, что читали наши предки полтора века назад.

Содержание

#1	0005
БЛАЖЕНСТВО БЕЗУМИЯ	0005



БЛАЖЕНСТВО БЕЗУМИЯ

*On dit, quo Ja folie est un mal;
on a tort — e'est un bien...*

*Говорят, что безумие есть зло, -
ошибаются: оно благо!*

МЫ читали Гофманову повесть "Meister Floh" [1]. Различные впечатления быстро изменялись в каждом из нас, по мере того как Гофман, это дикое дитя фантазии, этот поэт-безумец, сам боявшийся привидений, им изобретенных, водил нас из страны чудесного в самый обыкновенный мир, из мира волшебства в немецкий погребок, шутил, смеялся над нашими ожиданиями, обманывал нас беспрерывно и наконец — скрылся, как мечта, изглаженная крепким утренним сном! Чтение было кончено. Начались разговоры и суждения. Иногда это последствие чтения бывает любопытнее того, что прочитано. В дружеской беседе нашей всякий изъяснял свое мнение свободно; противоречия были самые странные, и всего страннее показалось мне, что женщины хвалили прозаические места

более, а мужчины были в восторге от самых фантастических сцен. Места поэтические пролетели мимо тех и других, большею частью не замеченные ими.

Один из наших собеседников молчал.

— Вы еще ничего не сказали, Леонид? — спросила его молодая девушка, которая не могла налюбоваться дочерью переплетчика, изображенною Гофманом.

— Что же прикажете мне говорить?

— Как что? Скажите, понравилась ли вам повесть Гофмана?

— Я не понимаю слова "понравиться", — отвечал Леонид — и глаза его обратились к другой собеседнице нашей, — не понимаю, когда говорят это слово о Гофмане или о девушке...

Та, на которую обратился взор Леонида, потупила глаза, и щеки ее покраснели.

— Чего же вы тут не понимаете?

— Того, — отвечал Леонид, — что ни Гофман, ни та, которую сердце отличает от других, нравиться не могут.

— Как? Гофман и девушка, которую вы любите, вам не могут нравиться?

— Жалею, что не успел хорошо высказать моей мысли. Дело в том, что слово "нравиться" я позволил бы себе употребить, говоря только о щегольской шляпке, о собачке, модном фраке и тому подобном.

— Прекрасно! Так лучше желать быть собачкою, нежели тою девушкою, которую вам вздумается любить?..

— Не беспокойтесь. Но Гофман вовсе мне не нравится, как не нравится мне буря с перекатным громом и ослепительною молниею: я изумлен, поражен; безмолвие души выражает все мое существование в самую минуту грозы, а после я сам себе не могу дать отчета: я не существовал в это время для мира! И как же вы хотите, чтобы холодным языком ума и слова пересказал я вам свои чувства? Зажгите слова мои огнем, и тогда я выжгу в душе другого чувства мои такими буквами, что он поймет их...

— Не пишет ли он стихов? — сказала девушка, которая спрашивала, молчаливой своей подруге. — Верно, это какое-нибудь поэтическое сравнение или выражение, и я ничего в нем не понимаю...

— Ах! как я его понимаю! — промолвила другая тихонько, сложив руки и поднимая к небу голубые глаза свои.

Я стоял за ее стулом и слышал этот голос сердца, невольно вылетевший. Боясь, чтобы она не заметила моего нечаянного дозора, я поспешил начать разговор с Леонидом.

— Прекрасно, — сказал я, — прекрасно, любезный Леонид! Только, в самом деле, непонятно.

— Как же вы говорите "прекрасно", если вы не понимаете?

Этот вопрос смешал меня. Я не знал, что отвечать на возражение Леонидово.

— То есть, я говорю, — сказал я ему наконец, — что трудно было бы изъяснить положительно, если бы мы захотели отдать полный отчет в ваших словах.

— Бедные люди! Им и чувствовать не позволяют того, чего изъяснить они не могут! — Леонид вздохнул.

— Но как же иначе? — сказал я. — Безотчетное чувство есть низшее чувство, и ум требует отчета верного, положительного...

— Мне всегда забавно слышать подобные

слова: сколько в них шуму, грому, и между тем, как мало отчетливости во всех ваших отчетах! Скажите, пожалуйста: во многом ли до сих пор успели вы достигнуть вашей отчетливой положительности? Не вправе ли мы и теперь еще, после всех ваших философских теорий и систем, повторить:

*Есть многое в природе, друг
Гораццо,
Что и не снилось вашим муд-
рецам!*

Что такое успели мы разгадать нашим умом и выразить нашим языком? Величайшая горесть, величайшая радость — обе безмолвны; любовь также молчит — не смеет, не должна говорить (он взглянул украдкой на молчаливую нашу собеседницу). Вот три высокие состояния души человеческой, и при всех трех уму и языку дается полная отставка! Все это человек может еще, однако ж, понимать; но что, если мы осмелимся коснуться тех скрытых тайн души человеческой, которые только ощущаем, о существовании которых только догадываемся?..

Леонид засмеялся и вдруг обратился к ве-

селей нашей собеседнице:

— Вам скучно слушать мои странные объяснения. Извините: вы сами начали.

— Я искренно признаюсь вам, что не понимаю, о чем вы говорите. Мне просто хотелось узнать ваше мнение о гофмановской сказке...

— Сказка эта похожа на быль, — отвечал Леонид. — Помилуйте? Как это можно?

— Говорю не шутя. Сначала мне показалось даже, будто я слышу рассказ о том, что случилось с одним из моих лучших друзей.

— Возможно ли?

— Окончание у Гофмана, однако ж, совсем не то. Бедный друг мой не улетел в волшебное царство духов: он остался на земле и дорого заплатил за мгновенные прихоти своего бешеного воображения...

— Расскажите нам!

— Это возбудит горестные воспоминания моей жизни; притом же я боюсь: я такой плохой рассказчик...

Сверх того, в приключениях друга моего я ничего не могу изъяснить положительно!.. — Леонид засмеялся и пожал мне руку.

— Злой насмешник! — сказал я.

— Вы, однако ж, расскажете нам? — повторила веселая наша собеседница.

— Если вам угодно...

Взор Леонида выразил, однако ж, что совсем не в ее угоду хотел он рассказывать.

— Ах! как весело! — сказала вполголоса молчаливая ее подруга, так что Леонид мог слышать, — он станет рассказывать!

— Ты любишь слушать рассказы Леонида? — лукаво спросила ее подруга.

— Да... потому, что они всегда такие странные... — Она смешалась и опять замолчала.

Несколько молодых людей придвинули к нам свои кресла. Мы составили отдельный кружок. Другие из гостей были уже заняты в это время картами и разговорами о погоде и еще о чем-то весьма важном, кажется, об осаде Антверпена.

Леонид начал:

— Вы позволите мне скрыть имена и предварительно объявить, что я ни слова не прибавлю и не убавлю к истине.

— В Петербурге, несколько лет тому, когда я служил по министерству... знал я одного молодого чиновника. Он был товарищ мне по

департаменту и старше меня летами. Назовем его Антиохом. В начале нашего знакомства показался он мне угрюм, холоден и молчалив. В веселых беседах наших он обыкновенно говаривал мало. Сказывали также, что он большой скупец. В самом деле, всем известно было, что у него огромное состояние, но он жил весьма тихо и скромно, никого не приглашал к себе, редко участвовал в забавах своих приятелей и только раз в год сзывал к себе товарищей и знакомых, в день именин своих. Тогда угощение являлось богатое. В другое же время редко можно было застать его дома. Говорили, что он нарочно не сказывается, хотя кроме должности почти никуда не ходит и сидит запершись в своем кабинете. Должность была у него легкая, за бумагами сидеть ему было не надобно, и никто не знал, каким образом Антиох проводит время. Впрочем, он был чрезвычайно вежлив и ласков, охотно ссужал деньгами и был принят в лучших обществах. Прибавлю, что он был собою довольно хорош, только не всякому мог понравиться. Лицо его, благородное и выразительное, совсем не было красиво; большие го-

лубые глаза его не были оживлены никаким чувством. Стройный и высокий, он вовсе не заботился о приятности движений. Часто, сложив руки, опустив глаза в землю, сидел он и не отвечал на вопросы самых милых девушек и улыбался притом так странно, что можно было почесть эту улыбку за насмешку. Бог знает с чего, Антиоха называли ученым — название, не придающее любезности в глазах женщин: говорю, что слышал, и готов допустить исключения из этого правила. Такое название придали Антиоху, может быть, потому, что он хорошо знал латинский язык и был постоянным посетителем лекций Велланского. Впрочем, Антиох показывал во всем отличное, хотя и странное, образование. Он превосходно знал французский, итальянский и особенно немецкий язык; изрядно танцевал, но не любил танцевать; страстно любил музыку, но не играл, не пел и всему предпочитал Бетховена. Иногда начинал он говорить, говорил с жаром, увлекательно, но вдруг прерывал речь и упорно молчал целый вечер. Знали, что он много путешествовал, но никогда не говорил он о своих путешествиях...

Извините, что я изображаю вам моего героя. Этот старинный манер романов необходим, и вы поймете после сего, почему называли Антиоха странным человеком. Вообще Антиоха все уважали, но любили его немногие. Долго старались разгадать странности Антиоховы. Одни сказывали, будто он был когда-то влюблен, и влюблен несчастно. Это могло сделать его интересным для женщин, но холодность Антиоха отталкивала всякого, кто хотел с ним сблизиться. Другим казалось непростительным, что при большом богатстве своем он, совершенно независимый и свободный, не живет открыто и не находится в блестящем обществе, не ищет ни чинов, ни связей, сидит дома, ходит на ученые лекции. "Он слишком умничает — он странный человек — он чужак — впрочем, он деловой человек — он скуп, а это отвратительно!"

Так судили об Антиохе. Странность труднее извинять, нежели шалость. Другим прощали бесцветность, ничтожность характера, мелкость души, отсутствие сердца: Антиоху не прощали того, что он отличался от других резкими чертами характера.

Признаюсь, я не мог не уважать Антиоха за то, что он не походил на других наших товарищей. Кто знает молодых петербургских служивых людей, тот согласится с моим замечанием. Мало удавалось мне слышать оживленный разговор Антиоха; но что слышал я, то изумляло меня чем-то необыкновенным — какою-то странною оригинальностью. Вскоре мы познакомились с ним короче.

Это было летним вечером. Помню этот вечер — один из прекраснейших вечеров в моей жизни! Я вырвался тогда из душного Петербурга, уехал в Ораниенбаум, дал себе свободу бродить без плана, без цели. Солнце катилось к западу, когда я очутился на даче Чичагова. Местоположение прелестное, дикое, уединенное, солнце, утопающее в волнах Финского залива, море, зажженное его лучами, небо ясное, безоблачное — все это расположило меня к какому-то забвению самого себя. Я был весь мечта, весь дума — как говорят наши поэты, и не заметил, как приблизился ко мне Антиох.

"Леонид! — сказал он мне, — дай руку! Отныне ты видишь во мне доброго своего дру-

га!"

Я невольно содрогнулся от яркого взора, какой Антиох устремил на меня, и от нечаянного появления этого странного человека. В замешательстве, молча, пожал я ему руку.

Никогда не видывал я Антиоха в таком, как теперь, состоянии. Если бы надобно было изобразить мне состояние его одним словом, то я сказал бы, что Антиох казался мне вдохновенным. Я видел не прежнего холодного Антиоха, с насмешливою улыбкою, с каким-то презрением смотревшего на всех, запеленанного в формы и приличия. В глазах его горел огонь, румянец оживлял его всегда бледные щеки.

"Леонид, — сказал он мне, — ради бога, прочь все формы! Будь при мне тем, чем видел я тебя за несколько минут, или я уйду и оставлю тебя!"

"Вы меня удивляете, Антиох!"

"Несносные люди! Их никогда не застнешь врасплох; они тотчас спешат надеть фрак свой и подать вам визитную карточку... Извините, что я перервал вашу уединенную прогулку", — сказал Антиох с досадою и хотел

идти прочь. Я остановил его. Голос Антиоха дошел до моего сердца.

"Антиох! Я тебя не понимаю".

"А мне казалось, что за несколько минут я понимал тебя, понимал юное сердце человека, который убежал из толпы людей отдохнуть здесь, один на просторе, по-беседовать с матерью-природою; понимал взор твой, устремленный на этот символ души человеческой — море бесконечное, бездонное, с бурями и пропастями..."

"Леонид!" — "Антиох!" — воскликнули мы и крепко обняли друг друга. Взявшись рука в руку, до глубокой ночи бродили мы вместе.

Не могу пересказать вам всего, что было переговорено нами в это время.

Антиох раскрыл мне свою душу — я высказал ему мою. Но что мог я тогда высказать ему? — продолжал Леонид с жаром, потупив глаза. — Несколько бледных воспоминаний детства, несколько неопределенных чувств при взгляде на природу, несколько затверженных мною идей, несколько мечтаний о будущем, может быть... Но я не о себе, а об Антиохе хочу говорить вам.

Антиох открыл мне новый мир, фантастический, прекрасный, великолепный — мир, в котором душа моя тонула, наслаждаясь забвением, похожим на то неизъяснимо-сладостное чувство, которое ощущаем мы, купаясь в море или смотря с высокой, заоблачной горы на низменное пространство, развивающееся под ногами нашими. Душа Антиоха была для меня этим новым, волшебным миром: она населила для меня всю природу чудными созданиями мечты; от ее прикосновения, казалось мне, и моя душа засверкала электрическими искрами. Как легко понял я тогда и насмешливую улыбку Антиоха при взгляде на известные обоим нам светские общества, и презрение, какое невольно изъяслял он при взгляде на наших товарищей!

Только равная Антиоху душа могла понять его или сердце младенческое, чистое, беспечно отдавшееся ему. Так прекрасную душу женщины понимает только пламенная душа любящего ее человека или дитя, которое безотчетно улыбается на ее материнскую слезу и питается жизнью из ее груди!

"Леонид! — говорил мне Антиох, — чело-

век есть отпадный ангел божий. Он носит семена рая в душе своей и может рассадить их на тучной почве земной природы и на лучших созданиях бога — сердце женщины и уме мужчины! Мир прекрасен, прекрасен и Человек, этот след дыхания божьего. Бури низких страстей портят, бури высоких страстей очищают душную его атмосферу и сметают пыль ничтожных сует. Любовь и дружба — вот солнце и луна душевного нашего мира! К несчастью, глаза людей заволакует темная вода: они не видят их величественного восхождения, прячутся в тени от жаркого полдня любви и пугаются привидений священной полуночи дружбы или больными, слабыми глазами не смеют глядеть на солнце и спят при серебристом свете месяца. Тяжело тому, кто бродит один бодрствующий и слышит только храпенье сонных. Пустыня жизни ужасна — страшнее пустынь земли! Как грустно смотреть, если видишь и понимаешь, чем могли бы быть люди и что они теперь!"

С жаром детских надежд опровергал я слова Антиоха, указывая ему на светлую будущность нашей жизни.

"Утешайся этими мечтами, храни их, Леонид! — ласково, но задумчиво говорил Антиох. — Эта мелкая монета всего лучше в торговле жизнью, и — горе тому, кто принесет на рынок людской жизни горсть драгоценных алмазов: если бы люди и могли оценить их, им не на что будет их купить; никто тебе не разменяет их, никто не продаст тебе на них ничего, и ты, обладатель алмазов, умрешь с голоду! Открой мне поприще, достойное высоких порывов души, поставь мне метою лавровый или дубовый венок, не оскверненный мелкими отношениями. А!(так в книге) самая смерть в достижении к этому венку будет сладостною целью жизни! Но покупное, но ничтожное — за ними ли пойду я! Так на торжественном пире народном ставят золоторогих быков, и безумная чернь дерется за куски их мяса, лезет на шест, стараясь достать позолоченный крендель, положенный на его вершине...

Леонид! ты еще не испытал терзательных бичей жизни. Ты еще не ставил на карту мечтаний всего своего счастья. Ты не знаешь еще муки неудовлетворенных стремлений души в

любви, дружбе и славе! Горестный опыт научил меня многому, что тебе неизвестно".

Антиох рассказал мне главные подробности своей жизни. Отец его, бедный офицер, увез дочь богача, и жестокосердный старик проклял их.

"Я не помню радостей младенчества, — говорил мне Антиох, — Угнетающая бедность, слезы матери, бледное лицо моего доброго отца — вот привидения, которыми окружена была колыбель моя. Бедность убийственна, а я испытал ее, испытал вполне: я видел, как мать моя терзалась последними смертными муками, и лекарь не шел к ней, потому что нечем было заплатить ему за визит! Я видел, как отец мой держал в руке рецепт, прописанный лекарем, и плакал: ему не с чем было послать в аптеку! Мы должны были много аптекарю; он не хотел нам отпустить более в долг, а у нас не было ни одной копейки! Двенадцати лет был я, когда проводил бедный гроб матери на кладбище и, возвратясь домой, застал отца без памяти — его повезли в больницу.

Я составлял единственное утешение матери моей, и воспитание мое было в странной противоположности с состоянием нашим. Женщина, каких не встречал я после, святой идеал материнской любви! зачем так рано раскрыла ты мое сердце? Зачем не дозволила свету охолодить, облечь меня в свои приличия и условия? Но тебе потребна была душа родная, с которою могла бы ты делиться своею душою, своим сердцем. И твоя мечтательная, любящая душа погубила меня! Голова моя была уже романическою, когда я едва понимал самые обыкновенные предметы жизни. Единственный друг нашего семейства, пастор лютеранской церкви того города, где мы жили, был другой губитель мой. Его высокая добродетель, его трогательная проповедь, его музыка, его слова, беседы с моею матерью уносили меня за пределы здешнего мира. Добрый старик этот в один год лишился нежно любимой жены, двух дочерей и осиротел на чужой стороне в старости лет. Единственное утешение его было, когда мать моя со мною приходила к нему, и он мог плакать, мог говорить с нею о милых, утраченных им, о своей

добрый Генриетте, о своих незабвенных Элизе и Юлии. По целым часам стоял я иногда и слушал, когда он, забывши весь мир, один в своей кирхе, играл на органах — я слушал божественные звуки Моцарта и Генделя, и голова моя горела, пока я не начинал неутешно рыдать. Тогда старик переставал играть и обнимал меня со слезами... Мы казались друзьями, ровесниками...

Из этого мира романической жизни и мечтаний вдруг перешел я в мир совершенно противоположный. Дед мой услышал о смерти моей матери. Одинок, грустно проводил он жизнь среди своих богатств. В больницу, где лежал отец мой, явился этот старик: все было забыто, горечь примирила их. Я воображал себе деда строгим, угрюмым богачом: увидел седого, убитого печалью старика, который обнимал меня, называл своим милым Антиохом. Отец мой выздоровел, снова вступил в службу; я переселился к моему деду. Вскоре бессарабская чума лишила меня отца...

Дед мой жил как богатый русский помещик, окруженный многочисленною дворнею,

льстецами, прислужниками. Меня, его единственного наследника, облелеяли все прихоти, все изобретения роскоши. Но грубый мир страстей, который увидел я у деда, старика, обманываемого всем, что его окружало, не только не увлек меня, но отвратил от себя и увеличил противоположность мечтательной души моей и действительной жизни. Все время, которого не проводил я в учебной своей комнате с множеством учителей, для меня нанятых, был я с моим дедом — как говорится, не слышавшим во мне души, — или бродил по окрестным лесам, с книгою, с мечтами, или скакал по полям на борзом коне. Соседи наши, добрые грубые люди — особенно соседки, матушки, тетушки, кузины, дочери их, — заставляли меня с особенною охотою скрываться в мое уединение".

Выражение Антиоха сделалось колким, насмешливым, когда он описывал мне грубую безжизненную жизнь деревенского быта: помещиков, переходящих от овина к висту, помещиц, занятых то ездой в гости, то сватаньем дочерей. Но с большею насмешкою говорил он мне о сельских красавицах — полных,

здоровых, с румяными щеками, с бледною душою, красивых личиками, безобразных сердцами...

"Я искал душ в этих прозябающих телах, — говорил Антиох. — Часто увлекался я добродушием отцов, простотою матерей и взрослым младенчеством детей их. Но грубые формы их вскоре отталкивали меня, и всего грустнее мне было видеть, когда я находил следы чего-то прекрасного, высокого, насильно заглушенного среди репейника и полыни сует и мелких отношений. Я готов был тогда жаловаться на провидение, сеющее бесплодные семена или попускающее расклевывать их галкам и воронам ничтожных отношений, душить их белене и чертополоху невежества.

Я выпросился у деда моего в Геттингенский университет. Мне и потому несносно было оставаться более в деревне, что меня там невзлюбили наконец, называли философом — страшная брань в устах тамошних обитателей, — чудаком, нелюдимом, насмешником.

Германия — парник, где воспитывает человечество самые редкие растения, унесен-

ные человеком из рая; но она — парник, Леонид! — а не раздольное поле, на котором свободно возрастали бы величественные пальмы и вековые творения человеческой природы. "Германия снимает с лампад просвещения нагар, но зато от нее пахнет маслом", — сказал не помню кто, и сказал справедливо. Однако ж в ней провел я лучшие минуты жизни — в ней, и еще в итальянской природе, и между швейцарскими горами, где песня приволья отдается между утесами горными и вторит шуму вечных водопадов...

Внезапная смерть деда заставила меня возвратиться в Россию, о которой сильно билось сердце мое на чужбине. Не зная разлуки с отчизною, не знаешь и грусти по отчизне, не знаешь, какую прелесть имеет самый воздух родины, какое очарование заключается в снегах ее, как весело слышать наш русский, сильный язык! Я увидел себя обладателем большого имени; сила души моей не удовлетворялась более одним ученьем. Мне хотелось забыть и мечты мои, и противоположности жизни в деятельных, достойных мужа трудах; хотелось узнать и большой свет.

Мой друг! кто рано начал жить вещественною жизнью, тому остается еще необозримая надежда спасения в жизни души; но беден, кто провел много лет в мире мечтаний, в мире духа и думает потом обольститься оболочкою этого мира, миром вещественным! Так путешествие — отрада для души неопытной, обольщаемой живыми впечатлениями общественной жизни и природы, но оно — жестокое средство разочарования для испытанного жильца мира! Богатые лорды английские проезжают через всю Европу нередко для того, чтобы навести пистолет на разочарованную голову свою по возвращении в свои великолепные замки. Есть Путешествия, в которых душа человеческая могла бы еще забыться, — путешествия по бурным безднам океана, среди льдов, скипевшихся с облаками под полюсом, среди палящих степей и пальмовых оазисов Африки, среди девственных дебрей Америки. Но такой ли мир для души петербургский проспект и эти разраморенные, раззолоченные залы и гостиные? Кто привык и крепкому питью, тому хуже воды оржид, прохлаждающий щеголеватого партнера кад-

рили. Вода, по крайней мере, вовсе безвкусна, а бальный оржад — что-то мутное, что-то приторное... Несносно!

Если бы горела война, изумлявшая Европу в 1812-м году, если бы грудью своею ломил нашу Русь тогдашний великан, которому мечами вырубил народы могилу в утесах острова Св. Елены, — под заздравным кубком смерти можно бы отдохнуть душою; если б я был поэтом, мог в очарованных песнях высказывать себя, — я также отдохнул бы тогда, я разлился бы по душам людей гармоническими звуками, и буря души моей исчезла бы в громах и молниях поэзии; если бы я мог, хотя не словами, но звуками только оживлять мечты, которым тесно в вещественных оковах... Но ты знаешь, что я не поэт и не музыкант! Непослушная рука моя всегда отказывалась изображать душу мою и в красках, и в очерках живописных. О Рафаэль, о Моцарт, о Шиллер! Кто дал вам божественные ваши краски, звуки и слова? Для чего же даны они были вам, а не даны мне? И для чего не передали вы никому тайны созданий ваших? Или вы думали, что люди недостойны ваших

тайн? И для чего же судьба дала мне чувства, с которыми я понимаю всю ничтожность, всю безжизненность моих порывов, смотря на небесную Мадонну, слушая "Requiem" и читая "Resignation"? "Звуков, цветов, слов! — восклицаю я, — их дайте мне, чтобы сказать на земле небу! Или дайте же мне душу, которая слилась бы со мною в пламени любви..." И что же вокруг меня? Куклы с завялыми цветами жизни, с цепями связей и приличий! Чего им от меня надобно? Моего золота, которое отвратительно мне, когда я вспоминаю, что мать моя умирала, а у меня не было гривны денег купить ей лекарства! И эту купленную любовь, эту продажную дружбу, эти обшитые мишурою расчёта почести будут занимать меня?.. Никогда!"

Вы назовете Антиоха моего безумцем, мечтателем? Не противоречу вам, не хвалю его, но — таков он был. Не осуждайте его хоть за то, что впоследствии он расплатился дорого за все, что чувствовал, о чем говорил и мечтал. Простите ему, хоть за эту цену, его безумие и, если угодно, извлеките из этого нравственный вывод, постарайтесь еще более по-

холодеть, крепче затянуться в формы, приличия и обыкновенные, благоразумные, настоящие понятия о жизни. Его пример будь нам наукой: не слишком высоко залетать на наших восковых крыльях. Лучше дремать на берегу лужи, нежели тонуть, хотя бы и в океане... — Леонид улыбнулся и продолжал рассказ:

— Не все, что высказал я вам, говорено было нами во время прогулки на Чичаговой даче в этот незабвенный дня меня вечер, после которого мы почти не расставались с Антиохом. Каждый раз привязывался я к нему более и более, каждый раз лучше узнавал я эту душу, пылкую, независимую, добрую, как у младенца, светлую, как у добродетельного старца, пламенную, как мысль влюбленного юноши. Не знаю, что полюбил Антиох во мне. Может быть, детское самоотвержение, с каким вслушивался я в голос его сердца, в высокие отзвуки души его.

Тогда узнал я, что делывал Антиох, запираясь у себя дома и отказывая посетителям. Склонность к мечтательности, воспитанная всею его жизнью, увлекала Антиоха в мир та-

инстинктивных знаний, этих неопределенных догадок души человеческой, которых никогда не разгадает она вполне. Исследование тайн природы и человека заставляли его забывать время, когда он занимался ими. Исследования магнетизма, феоcофия, психология были любимыми его занятиями. Он терялся в пене мудрости, которая кружит голову вихрями таинственности и мистики. Знания, известные нам под названиями кабалистики, хиромантии, физиогномики, ка-казались (увы, так в книге) Антиоху только грубою корою, под которою скрываются тайны глубокой мудрости.

Я не мог разделять с ним любимых его упражнений, однако ж слушал и заслушивался, когда он, с жаром, вдохновенно, говорил мне о таинственной мудрости Востока, раскрывал мне мир, куда возлегал на мгновение душа поэта и художника и который грубо отзывается в народных поверьях, суевериях, преданиях, легендах. Антиох не знал пределов в этом мире. Эккартсгаузен, Шведенбург, Шубарт, Бем были самым любимым его чтением.

"Тайны природы могут быть постижимы

тогда только, когда мы смотрим на них просветленным зрением души, — говорил он. — Кто исчислит меру воли человека, совлеченной всех цепей вещественных? Где мера и той божественной вере, которая может двигать горы с их места, той дочери небесной Софии, сестры Любви и Надежды? Природа — гиероглиф, и все вещественное есть символ невещественного, все земное — неземного, все вещественное — духовного. Можем ли пренебречь этот мир, доступный духу человеческому?"

"Мечтатель! — говорил я иногда Антиоху, — ты погубишь себя! Мало тебе идеалов, которых не находишь в жизни — ты хочешь из них создать целый мир и в этом мире открывать тайны, которые непостижимы человеку!"

"Но они постижимы ему в зрящем состоянии ума, во временной смерти тела — сне — и в вещественном соединении с природою — магнетизме! Но если я и грежу, если это и сон обольстительный, не лучше ли сон этот бедной вашей существенности? Если сон представляет крылья телу — мечта подвизывает

крылья душе, и тогда нет для нее ни времени, ни пространства. О, мой Леонид! Если дружбу мою столько раз, со слезами, называл ты благословением неба, зачем не могу я изобразить тебе, что сказала бы родная душа о моей любви, о любви выше ничтожных условий земли и мира! Да, правда: эта любовь не для земли — ее угадала бы одна, одна душа, созданная вместе с моею душою и разделенная после того. Леонид! назови меня сумасшедшим, но Пифагор не ошибался: я верю его жизни до рождения — и в этой жизни — верю я — было существо, дышавшее одной душою со мной вместе. Я встречу некогда с ним и здесь; встреча наша будет нашею смертию — пережить ее невозможно! Умрем, моя мечта! умрем — да и на что жить нам, когда в одно мгновение первого взора мы истощим века жизни?.."

Не знаю, поняли ль вы теперь странную, если угодно, уродливую душу Антиоха, которая открывалась только мне одному и никому более? Для других продолжал он быть прежним, насмешливым, холодным молодым человеком, не переменял образа своей жиз-

ни, жил по-старому, служил, как другие...

В это время приехал в Петербург какой-то шарлатан: называю его так потому, что его нельзя было назвать ни артистом, ни ученым человеком. Он, правда, не объявлял о себе в газетах, не вывешивал над своею квартирою огромной размалеванной холстины днем, ни темного фонаря с светлою надписью по вечерам и называл себя Людовиком фон Шреккенфельдом; однако ж разослал при театральных афишках известие, для любителей изящных искусств, о мнемо-физико-магических вечерах, какие намерен давать петербургской публике, и "льстил себя надеждою благосклонного посещения". В огромной зале давал он эти вечера. Цена за вход назначена была десять рублей, и зала каждый раз была полна. В самом деле — было чего посмотреть. Удивительные машины, непонятные автоматы, блестящие физические опыты занимали прежде всего посетителей. Потом приглашенные лучшие артисты разыгрывали самые фантастические музыкальные пьесы; иногда фантазмагория, кинезотография, пиротехника, китайские тени изумляли всех своею вол-

шебною роскошью. Но молодых посетителей более всего привлекала к Шреккенфельду девушка, которую называл он своею дочерью.

Не знаю, как описать вам Адельгейду: она уподоблялась дикой симфонии Бетховена и девам-валкириям, о которых певали скандинавские скальды. Рост ее был средний, лицо удивительной белизны, но не представляло ни стройной красоты греческой, ни выразительной красоты Востока, ни пламенного очарования красоты итальянской; оно было задумчиво-прелестно, походило на лицо мадонн Альбрехта Дюрера. Чрезвычайно стройная, с русыми, в длинные локоны завитыми волосами, в белом платье, Адельгейда казалась духом той поэзии, который вдохновлял Шиллера, когда он описывал свою Теклу, и Гете, когда он изображал свою Миньону. Вечера Шреккенфельда отличались тем от обыкновенных зрелищ за плату, что хозяин и дочь его не собирали при входе билетов, и собрание у них походило на вечернее сборище гостей. Шреккенфельд и Адельгейда казались добрыми хозяевами, и пока артисты разыгрывали разные музыкальные пьесы, ливрейные

слуги угощали посетителей без всякой платы, а он и она занимали гостей разговорами, самыми увлекательными, веселыми, разнообразными. Затем, как будто нечаянно, хозяин начинал рассуждать о природе, ее таинствах и принимался за опыты. Но все ждали нетерпеливо того времени, когда Адельгейда являлась на сцену. Она обладала удивительными дарованиями в музыке, говорила на нескольких языках, и, несмотря на ее всегдашнюю холодность и задумчивость, разговор Адельгейды был блестящ, увлекателен. Заметно было, что она выходила на сцену неохотно. Обыкновенно начинала она игрою на фортепиано, а чаще на арфе. Задумчивость ее исчезала постепенно — игра переходила в фантазию, звуки лились, как будто из ее души, голос ее соединялся с звуками арфы. Тогда глаза ее начинали сверкать огнем восторга. Она пела, декламировала, оставляла арфу, читала стихи Гете, Шиллера, Бюргера, Клопштока. Раздавались звуки невидимой гармоник, скрытой от зрителей, и потрясали душу. Каждый думал тогда, что видит в Адельгейде какое-то воздушное существо, каждый ждал, что она

рассеется, исчезнет легким туманом. Тогда только раздавались рукоплескания зрителей, когда Адельгейда уходила со сцены, скрывалась от взоров и к звукам гармонике присоединялся шумный хор музыкантов. Адельгейда не являлась уже к зрителям после игры и декламации, и Шреккенфельд оканчивал вечера изумительными фокусами или фантазмагорию.

Слухи о вечерах Шреккенфельда и особенно об его Адельгейде привлекали к нему молодежь. Каждый шел посмотреть на нее, как на кочевую комедиантку, походную певицу. Но каждого изумлял взгляд на нее и, особенно, разговор ее. Свобода обращения Адельгейды с молодыми людьми представляла разительную противоположность с ее холодностью. Один взор Адельгейды останавливал двусмысленный разговор или дерзкое слово самого безрассудного ветреника, а ее дарования заставляли забывать, что она была дочь какого-то шарлатана и показывала опыты необыкновенных дарований своих за деньги.

Шреккенфельд скоро составил у себя особенные, частные вечера, давая публичные ве-

вчера только один раз в неделю. Он занимал богатую квартиру, и всякий, кто был порядочно одет и знакомился с ним на публичных его вечерах, имел право прийти к нему на частный вечер и привести с собою знакомого. Совершенная свобода была в этих собраниях, хотя вид Адельгейды удерживал всех в совершенной благопристойности. Шреккенфельд был неистощим в занятии гостей: пение, музыка, опыты ученые, декламация и игра Адельгейды занимали одних, большая карточная игра — других. Шреккенфельд держал огромный банк, выигрывал и проигрывал большие суммы, хотя сам никогда не садился играть, и только повсюду надзирал своими зелеными, лягушечьими глазами. Он внушал всем какое-то невольное отвращение, так, как Адельгейда всех привлекала собою. Нельзя было не удивляться обширным знаниям Шреккенфельда; притом он свободно говорил на пяти или шести языках; но всякое движение его было разочтено, продажно. Он казался всезнающим демоном, а Адельгейда духом света, которого заклял, очаровал этот демон и держит в цепях. Внезапный восторг, одушев-

лявший задумчивую Адельгейду при музыке и поэзии, можно было почесть мгновением, в которое этот ангел света вспоминает о своем прежнем небе.

Посетив раза три Шреккенфельда, я, как и другие, был очарован Адельгейдой. Но это не была любовь. Я смотрел на Адельгейду, как на волшебное привидение какое-то, как на создание из звуков музыки и слов поэзии. С восторгом говорил я об ней Антиоху. Он смеялся и отвечал мне, что один вид шарлатана ему отвратителен, и, несмотря на то, что многие шарлатаны обладают тайнами знаний, неизвестными ученым, дарованиями, какими могли бы гордиться художники, он всегда видит в них презренных торгашей божественными дарами, ремесленников, унижающих величие человека.

"Признаюсь тебе, Леонид, что женщина, показывающая за деньги свои дарования, есть для меня творение нестерпимое. Я могу равнодушно смотреть на паяца, на фокусника, но на певицу — не могу, все равно что на эквилибристку! Смейся, но я не пошел слушать Каталани в ее концерте и слышал ее в

частном доме: я не пошел бы в концерт ни Малибран, ни Пасты! Один вид приставника, который отбирает у меня билет при входе, поворачивает мое сердце и разрушает для меня очарование. Иное дело в театре, где все является мне в каком-то оптическом обмане".

* * *

Но я уговорил его идти к Шреккенфельду. Антиох сел в дальнем углу залы, холодно слушал музыку, невнимательно смотрел на опыты Шреккенфельда. Он видел и Адельгейду, но, казалось, не замечал ее. В ту минуту, когда Адельгейда села за арфу, обратила взоры к небесам и начала тихими аккордами, движение Антиоха заставило меня взглянуть на него. Я увидел, что глаза его загорелись. Чудные звуки арфы слились с голосом Адельгейды — Антиох едва мог сидеть на месте. Неизъяснимая грусть, смешанная с какою-то радостью, что-то непонятное для меня изображалось на лице Антиоха. Надобно сказать, что в этот роковой вечер и Адельгейда была очаровательна, неизобразима! Когда она оставила арфу и начала декламировать, с вдохновенным взором, с горящими щеками, с глазами,

полными слез, — я не посмел бы влюбиться в нее: так не-земна казалась мне Адельгейда! Она читала чудное посвящение "Фауста", и эти, столь известные, слова:

*Ihr naht euch wieder,
schwankende Gestalten!*

*Die früh sich einst dem trüben
Blick gezeigt.*

*Versuch ich wohl, euch diesmal
festzunalten?*

*Fühl ich mein Herz noch jenem
Wahn geneigt?*

*(Опять ты здесь, мой благо-
датный гений,*

Воздушная подруга юных дней!

*Опять, с толпой знакомых
привидений,*

*Теснишься ты, Мечта, к душе
моей!*

Жуковский)

казались импровизациею в устах Адельгейды; казалось, что мы слышим их в первый раз! Когда же "звуки смычка, водимого по сердцу человеческому" (как сказал о гармонике наш известный поэт), раздались в зале и

среди их умолкающих, замирающих переливов Адельгейда произнесла:

*Und mich ergreift ein langst
entwohntes Sehnen*

*Nach jenem stillen, ernstestem
Geisterreich.*

*Es schwebet nun in
unbestimmten Tönen,*

*Mein lispelnd Lied, der Aolsharfe
gleich,*

*Ein Schauer fasset mich, Träne
folgt den Tränen,*

*Das btrenge Herz, es fuhlt sich
mild und weich;*

*Was ich besitze, seh ich wie in
Weiten,*

*Und was verschwand, wird mir
zu Wirklichkeiten!2 —*

*(И снова в томном сердце воз-
никает*

*Стремленье в оный таин-
ственный свет;*

*Давнишний глас на лире ожив-
вает,*

*Чуть слышимый, как Гения
полет,*

И душу хладную разогревает

*Опять тоска по благам прежних лет:
Все близкое мне зрится отдаленным;
Погибшее опять одушевленным...*

Жуковский)

слезы потекли из глаз ее... Антиох закрыл глаза своим платком, и, пока раздавались рукоплескания, он поспешно ушел из собрания.

* * *

Дня три после того не удалось мне видеться с Антиохом. Я застал его смущенного, бледного. Против обыкновения, он не ходил в наш департамент и дома ничего не делал, расхаживал взад и вперед, сложа руки.

"Ты болен, Антиох?" — спросил я.

"Нет, кажется, а, впрочем, может быть и болен".

Он замолчал, продолжал ходить и вдруг остановился передо мною, когда я сел и в беспокойстве смотрел на него.

"Леонид! — сказал он мне. — Какой злой дух внушил тебе мысль увлечь меня к Шреккенфельду, к этому демону, волшебнику? В

каком мире жил я в эти дни? Что я чувствовал? Что это заговорило для меня во всей природе? Что вложило душу и голос во все бездушные предметы и слило голоса всего в один звук, в одно имя, которое беспрестанно режет мне слух мой, вползает в душу мою адскою змеею, сосет мое сердце?"

"Антиох! неужели Адельгейда произвела на тебя такое сильное впечатление?"

"Впечатление! Не любовь ли, скажешь ты? Неужели это любовь — любовь, этот палящий яд, который течет теперь по моим жилам и в каждой из них бьется тысячью аневризмов? О нет! Это не любовь! Я не люблю, не уважаю Адельгейды — торговки своими дарованиями, дочери воплощенного демона! Я — презираю ее! Но это какое-то очарование, от которого, как от взора гремучей змеи, спирается мое дыханье, кружится моя голова... Это какое-то непонятное чувство, похожее на усилие, с каким вспоминаем мы о чем-то былом, о чем-то знакомом, забытом нами... Леонид! я видал, я знал когда-то Адельгейду — да, я знал ее, знал... О, в этом никто не разуверит меня!.. Я знал ее где-то; она была тогда ангелом бо-

жиим! И следы грусти на лице ее, и этот взор, искавший кого-то в толпе, — все рассказывает, что она жила где-то в стране той, где я видал ее, где и она знала меня... Но где, где? Не на Альпах ли раздавался ее голос и закипел в моем сердце слезами памяти? Не на Лаго ли Мадяшоре он носился надо мною в запал в душу с памятью об яхонтовом небе Италии?" Антиох рассказал мне, что третьего дня, оставив собрание Шреккенфельда, он бродил всю ночь, сам не зная где. Слова, голос, музыка Адельгейды преследовали его, терзали, заставляли плакать, и только говор продубившегося, (так в книге) зашевелившегося по улицам народа напомнил ему самого себя. Он заперся у себя в доме и на другой день, сам не зная как, вечером, желая подышать свободным воздухом, решась идти за город или на взморье, он опять очутился у Шреккенфельда, сел в углу и смотрел на Адельгейду. "Думаю, — продолжал Антиох, — что я походил на всех других, бывших у проклятого шарлатана этого, потому что никто не изумлялся, не дивился мне. Помню, что кто-то даже рекомендовал меня Шреккенфельду. А если бы

знали люди, что тогда был я, что была тогда душа моя!.."

* * *

Адельгейда декламировала на сей раз только песню Теклы. Не стану читать вам немецкого подлинника. В пленительных стихах Жуковского, может быть, вам будет понятнее этот "Голос с того света":

Не узнавай, куда я путь скло-
нила,

В какой предел из мира пере-
шла...

О друг! Я все земное соверши-
ла:

Я на земле любила и жила!

Нашла ли их? Сбылись ли ожи-
данья?

Без страха верь: обмана серд-
цу нет —

Сбылося все! Я в стороне сви-
данья,

И знаю здесь, сколь ваш пре-
красен свет!

Друг! На земле великое не
тщетно!

Будь тверд, а здесь тебе не изменят!

О милый! здесь не будет безответно

Ничто, ничто — ни мысль, ни вздох, ни взгляд!

*Не унывай! Минувшее с тобою!
Незрима я, но в мире мы одном.*

Будь верен мне прекрасною душою —

Сверши один начатое вдвоем!

Адельгейды не стало, но Антиох не двигался с места, сидел неподвижно и тогда только опомнился, когда Шреккенфельд подошел к нему и что-то начал ему говорить. Антиох увидел, что все разошлись, зала опустела, и он был один. Схватив шляпу свою, он поспешил за другими. Шреккенфельд провожал его самым учтивым образом и просил посещать впредь, потому что он видит в нем особенно-го знатока и любителя изящных искусств.

"Вид его, какая-то злобная радость, какая-то демонская улыбка были мне так отвратительны, что я дал себе слово никогда не бы-

вать у него более. Но вообрази, что вчера я опять очутился у него; меня влекла какая-то невидимая, непостижимая сила. Адельгейда декламировала песню Миньоны...

*(Ты знал ли край, где негой дышит лес,
Златой лимон горит во мгле
древес,
И ветерок край неба холодит,
И тихо мирт, и гордо лавр
стоит? Туда, туда!
Жуковский)*

Но она была выше, лучше, чудеснее Миньоны..."

Антиох закрыл лицо руками и бросился в кресла.

"Антиох! — сказал я, — ты любишь Адельгейду!"

"Нет!"

"Что же это, если не любовь? — S'amor non è, che dimque è quel ch'io sento?" — спросил я его. Не знаю сам, как пришел мне тогда в голову этот стих.

"Прочь с твоим водяным Петраркою! —

вскричал нетерпеливо Антиох, — прочь с стихами! Я проклинаяю их: они сводят с ума добрых людей! Не от них ли столько народа, который был бы порядочным народом, сделалось никуда не годными повесами! И не глупость ли заниматься детским подбором созвучных слов, нанизывать их вместе на нитку одной идеи и этой погремушкой дурачить потом других, заставляя их верить, что будто в этой игре колокольчиков заключено что-то небесное, божественное! Дурацкую шапку, дурацкую шапку Гете, Шиллеру, всем, всем поэтам за то, что они заводят нас в глупые положения, разлучают с делом, с настоящею жизнью, расстраивают нас своими нелепыми мечтами!.."

Он замолчал, ходил большими шагами и вдруг спросил меня очень спокойно: "А согласишься, что ты не слыхивал, кто бы читал стихи лучше Адельгейды? Не показывает ли это глубокое сочувствие поэзии, это непостижимое слияние восторга музыки и стихов — души, некогда бывшей великою, ангелом, пери — не знаю чем! И вот она: человек, ничтожный, как другие, — делает кникс за десять рублей,

которые ты даешь ей, чтобы она, и с отцом своим, не издохла с голоду! Ха, ха, ха!" Я молчал. И что мог я сказать? Какой ответ поставить против этой бури, разразившейся над пороховым арсеналом?

*"Und mich ergreift ein langst
entwohntes Sehnen
Nach jenem stillen ernstestem
Geisterreich", —*

произнес глухо Антиох. Видно было, что с усилием хотел он обновить на лице своем обыкновенную, презрительную, насмешливую улыбку, но забыл, каких мускулов движением производилась она! "Право, Леонид! — сказал он, — я не люблю Адельгейды; но только меня мучит мысль: где видел я ее? Где? где? Не помню, не знаю; но я ее видал — и это время было самое счастливое в моей жизни, блаженное время! Мне кажется, что если бы я мог только его припомнить, то одного этого воспоминания было бы достаточно для счастья всей остальной моей жизни! Леонид! не говорил ли, не сказывал ли я тебе чего-нибудь подобного о какой-нибудь девушке?"

Я трепетал и не мог выговорить ни одного

слова. Увы! я предчувствовал, я предвидел гибель, в которую упал Антиох; я припоминал слова его: "Умрем, моя мечта, умрем, да и на что нам жить?" Я соображал его мечтательный характер, его мистическое направление; трепетал, что он попался теперь в руки шарлатана, всеми поступками доказывавшего, что для него нет ни бога, ни греха; в руки бродящей певицы, походной комедиантки, которая само кокетство, может быть, почитает одним из средств пропитания...

* * *

В этот вечер явился я к Шреккенфельду, предчувствуя, что Антиох будет там; я желал рассмотреть все, поклявшись быть ангелом-хранителем моего друга, Шреккенфельд был ко мне отменно ласков. "Придет ли сегодня ваш почтенный приятель, г. Антиох? — спросил он меня. — Мы приготовляем репетицию Бетховеновой симфонии, а он, кажется, отличный знаток и любитель. Пойдемте к нам — здесь нам помешают".

В зале сидело за карточными столами несколько игроков. Мы прошли через несколько комнат и очутились в круглой

внутренней комнате. Тут несколько человек разбирали партитуру и готовили инструменты.

Адельгейда держала в руках ноты, задрожала, услышав голос отца, и с трепетом обернулась к нам; при взгляде на меня глубокий вздох вылетел из ее груди и, казалось, облегчил ее. С изумлением прочитал я в глазах Адельгейды чувство: "Слава богу! Это не он!"

До сих пор я видал ее только на сцене, в виде певицы, актрисы; теперь в первый раз увидел я ее по-домашнему, в простом, хотя и щегольском, капоте. Она показалась мне так мила, в движениях ее была такая простота, в глазах ее светилась такая чистая невинность, что мне стало совестно самого себя, когда я вспомнил все оскорбительные подозрения, какими обременял Адельгейду.

Все вокруг меня показывало довольство. Серебряный чайный сервиз стоял на столике. Адельгейда подошла к нему и начала готовить чай. Вместо разговорчивой, блестящей певицы я видел молчаливую, тихую девушку, задумчивую, грустную. Шреккенфельд, усадив меня, начал веселый разговор.

Адельгейда молчала.

"Неужели, милое чудное создание! — думал я, смотря на нее, пока говорил Шреккенфельд, — неужели тебе суждено погубить моего друга, моего пламенного Антиоха? Между вами нет и не может быть никаких отношений: ты не для нее, и он не для тебя! Вижу, что ты сама чувствуешь униженное, презрительное свое состояние — иначе отчего же грусть твоя? Отчего это глубокое выражение печали на лице твоём?"

Тут явился слуга и сказал что-то Шреккенфельду. Он поспешно вышел, и через минуту мы снова услышали голос его: он возвращался — с ним был Антиох.

Задумчив, мрачен вошел Антиох. Презрение, негодование изображалось на лице его, и он был ужасно бледен. Взгляд на Адельгейду не произвел в нем никакой радости. Я заметил только одно выражение, как будто Антиох, с трудом, совершенно рассеянный, что-то старался вспомнить. Еще внимательней глядел я на Адельгейду: она затрепетала, услышав голос, увидев самого Антиоха; щеки ее вспыхнули, но как будто от усиленной

скорби, от негодования; глаза ее поднялись к небу, опустились в землю, и украдкой отерла она слезу.

Началась репетиция симфонии. Антиох молча сел в стороне; Шреккенфельд давал какие-то знаки Адельгейде; взор Адельгейды обратился к отцу, и в глазах отца сверкнул тогда ужасающий гнев, злость. Поспешно вышла Адельгейда. Шреккенфельд мгновенно переменял свою удивительно подвижную физиогномию в самую ласковую, сел подле меня и занял меня разговором, как будто не обращая вовсе внимания на Антиоха. Но мы замолчали, когда безумные звуки Бетховена начали развиваться в неизобразимых аккордах. Среди глубокой тишины всех вдруг услышал я позади себя восклицание Антиоха: "Это она!" С беспокойством оборачиваюсь и вижу, что Адельгейда сидит подле Антиоха и смотрит на него, испуганная, с изумлением. Рука ее была в руке Антиоха. Радость, восторг, изумление, небесное чувство поэзии изображались в глазах его; жаркий румянец горел на его щеках. "Это она — я узнал ее!" — говорил Антиох, забыв, что тут есть посторонние сви-

детели, что тут отец Адельгейды. Она вырвала у него свою руку, отступила на два шага и поспешно ушла из комнаты.

К счастью, музыканты, занятые разбиранием трудных нот, ничего не слышали и не заметили. Антиох смотрел на дверь комнаты, куда удалилась Адельгейда, смотрел, как иступленный, как будто все сосредоточилось для него в один взгляд, в один образ — этот образ на одно мгновение пролетел мимо его и унес у него жизнь, и ум, и все идеи его, все понятия, все прошедшее и будущее! Волнение души его видно было в неизобразимой борьбе физиогномии, где радость сменялась печалью, восторг унынием, уверенность недоумением. Всю историю сердца человеческого прочитал бы на лице Антиоха тот, кто умел бы схватить все изменявшиеся быстро переходы страстей, обхвативших его навеки пламенным вихрем... Человек и жизнь исчезли в нем: в раскаленном взоре, каким преследовал он удалившуюся Адельгейду, я видел взор больного горячкою в ту непостижимую минуту, когда тихая минута кончины укрощает те-

лесные терзания болезни, оставляя всю силу духа, возбужденного натянутыми нервами, и неприметно сливает идею вечного покоя смерти с полнотою деятельности, обхватившею телесный и душевный мир — жизнью.

Какое-то тихое, радостное спокойствие, какое-то чувство наслаждения осталось наконец на лице и означилось во всех движениях Антиоха. Когда подошел к нему я, он крепко пожал мне руку и сказал: "Пойдем! Я поделюсь с тобой тем, чего никто из людей не знает и что я узнал теперь!" Когда приблизился к нему Шреккенфельд, улыбка детского лукавства мелькнула на устах Антиоха.

"Позвольте нам идти теперь, любезный г-н Шреккенфельд, — сказал он. — Могу ли надеяться, что вы не запретите мне иногда приходить, разделять ваши семейственные наслаждения?"

Шреккенфельд улыбнулся адски и, казалось, проницал в душу Антиоха своими ядовитыми глазами. "Г-н Антиох! — отвечал он, — дверь моего дома никогда не будет затворена для любителя и знатока искусств, вам подобного; тем более, если к этому присо-

вокупляется личное уважение к его особе".

"Посетите и вы меня, любезный г-н Шреккенфельд. Буду вам сердечно рад: вот мой адрес!"

Антиох подал ему карточку и дружески пожал ему руку.

Мы вышли и почти бежали по улице. Иногда Антиох останавливался, складывал руки и медленно произносил: "Адельгейда, Адельгейда!", как будто это имя надобно было ему вдыхать в себя с воздухом, чтобы поддержать свое бытие. Я хотел начать разговор, но Антиох схватывал меня за руку, влек с собою и говорил: "Молчи, ради бога, молчи!.. Адельгейда, Адельгейда!"

Мы пришли на квартиру его, и Антиох запер за собою двери.

Я думал, что он задушит меня в своих объятиях: так крепко обнял он меня. Он прыгал, как дитя, он смеялся, хохотал, и слезы текли между тем по щекам его, горящим неестественным жаром. "О Леонид! я нашел ее, нашел мою половину души! Загадка жизни моей, загадка жизни человечества найдена мною, — воскликнул наконец Антиох. —

Итак, судьба испытывала, терзала, готовила меня, чтобы я разрешил наконец миру, сказал людям тайну их бытия? Теперь я все понимаю: и тоску, и грусть мою, и мучения души! И как терзался я, приближаясь к разрешению тайны высочайшего блаженства, к бытию цельюю, полною душою! Мой взор проникает теперь всю природу: я понимаю, что, делая повсюду уделом человека борьбу духа и вещества, величайшее блаженство наше — смерть — судьба нарочно отделяет от нас разными ничтожными призраками и привидениями — болезнью, страхом, недоумением! И человек трепещет этих бумажных духов "Фрейшица", этой дикой музыки смертного стога, которой привыкло пугаться его воображение. Мы бродим по земле, ища родного душе и сердцу, бродим, не находим, падаем от усталости; тогда судьба начинает жалеть об нас, укачивает нас в вечной люльке, в гробе, и мы засыпаем навсегда, как дети, утомленные беганьем, но перед сном трепещущие всего — и шороха мыши, и стука в окошко, пока все не забудется в игривых фантазиях сна крепкого! Заметь, как искусно

скрыта от нас прежняя жизнь наша, наша Urleben, а также и жизнь будущая. Если бы мы знали прежнее наше бытие — мы не могли бы существовать здесь, на бедной нашей земле: мы не остались бы на ней, если бы знали и понимали, что последует и за земною жизнью! Какой же я выродок, за что я так уродливо счастлив, что все это суждено мне понять здесь? Ах, Леонид! Придумай мне слова, составь мне азбуку, которыми мог бы я высказать, написать людям все то, чему хотел бы я научить их, что хотел бы рассказать им. Я узнал из этого языка только одно слово: Адельгейда! Понимаешь ли ты это слово? Я произнесу его тебе тихо, медленно: А-дель-гейда! Слышишь ли, чувствуешь ли ты, что оно соединяет в себя и звуки музыки, и слова поэзии, и цветы живописи, и формы ваяния, и все мечты души, и все думы сердца? О таких словах думает душа, их ищет она, их слышит и не понимает она в реве морских волн, в грохоте грома, в пении соловья, в песнях поэтов! У поэтов, впрочем, и трудно понять их: ведь они безумцы. Спроси об этом философов, и они растолкуют тебе, что поэты говорят без

сознания и потому думают украсить такие слова гремушками, мишурою слов, рифм, всякого вздора. А природа выговаривает такие слова так ясно, громко, просто... Виновата ли она, что мы глухи? Возьми мое слово: Адельгейда, произнеси его — какая симфония сравнится с ним? Напиши, вырежь его — какое изваяние осмелишься подле него поставить? Тут все — мысль, душа, жизнь, весь мир..."

После того Антиох опять начинал говорить: "Адельгейда, Адельгейда!" Наконец идеи его приняли какое-то определенное, систематическое направление, и он стройно начал рассказывать мне, где и когда видал он Адельгейду.

Как жаль, что я не могу пересказать вам рассказа Антиохова! Помните ли вы слова Байрона:

*Her thoughts
Were combinations of disjointed
things,
And forms impalpable and
unperceived
Of others' sight, familiar were to
hers,*

*And this the world calls
phrensy...*

(Ее мысли были уравнением несоединяемых предметов, и образы, недоступные и незаметные зрению других, были знакомы ей — а люди называют это безумием...)

Да, свет называет это безумием! Но что мудрость наша? Игра в жмурки! Счастлив, кто хоть за что-нибудь, хоть за сумасшествие ухватился...

"Ты видел, что я признавал с первого взгляда в Адельгейде что-то знакомое, родное, что я старался вспомнить только: где знал я Адельгейду? Когда ныне пришел я к Шреккенфельду, когда он взял меня за руку и повел в свою комнату, мне казалось, что смертельные судороги гнули все мои кости и смерть была в груди моей. Вы занялись музыкою; я не заметил, как явилась и когда села подле меня Адельгейда. Она сказала мне только одно слово: назвала только меня по имени; она только поглядела на меня, и — забывши все, я схватил в восторге ее руку! Это слово, этот взгляд, это прикосновение поясни-

ли мне в одно мгновение все, и я невольно воскликнул: "Это она!" Все прежнее обновилось в душе моей и сделалось мне совершенно ясно.

Леонид! только одного боюсь я: этот Шреккенфельд, эта Адельгейда — не мечты ли какие-нибудь, созданные моим воображением? Ты гораздо хладнокровнее меня, хоть я и сам себя очень хорошо понимаю и чувствую, — скажи: точно ли она и он существуют? Кажется, я не ошибаюсь: я видел, что она глядит, говорит, я чувствовал, взяв ее за руку, что теплая кровь льется в руке Адельгейды: стало быть, она не привидение! И Шреккенфельд также говорит, ходит; он обещал быть у меня..."

"Что говоришь ты, Антиох!"

"То, что если он и она привидения, оптический обман... Да, заметь, что я всегда вижу их только вечером... Если это мечта, и я — сумасшедший!" — Он сильно ударил себя в голову.

"О, мой Антиох! К несчастью — это не мечта. Шреккенфельд и Адельгейда существуют!"

"К несчастью? Почему ж "к несчастью", если они существуют? Я только требую удосто-

верения твоего в этом, остального ни ты, ни он, ни она не знаете. Шреккенфельд думает, что она дочь его... ха, ха, ха! Какая дочь: это моя душа — половина моей души...

Видишь ли что: есть страна в мире, чудная страна — ее называют Италия. Там все великое, все прекрасное. Столько изящных созданий там, что нет другого равного количества в целом мире. Вообрази, что там был человек, умевший изобразить земными красками, цветною нашею грязью преображенного бога: там есть храм, купол которого кажется небом — так велик он, — и этот купол висит над людьми целые века, ничем не поддерживанный; там есть такое изображение красоты в мертвом мраморе, что перед ним красота самой очаровательной девы кажется безобразием; там есть города, утонувшие в виноградниках, миртовых, лавровых, померанцевых лесах; другие построены на волнах моря; другие на городах, зарытых веками в землю. Там был народ, некогда обладавший целым миром: Север, Запад и Восток стремились к нему туда, боролись там с ним — следы борьбы их остались в исполинских развалинах,

обломками которых бросали они друг в друга, и эти обломки величиной с наши города. Там смерть и жизнь слиты вместе, вместе любовь и мука, слезы и пение; горы горят, в море отражаются волшебные невидимые сады и замки фей; на горячем пепле огнедышащих гор растет багряный виноград, зреет маслина; обломки столицы мира окружают тлетворные болота... Там родился Наполеон; оттуда шагнул он на трон полусвета; оттуда, надышавшись в последний раз вдохновенного воздуха, пошел он еще испытывать игру судеб... там видел я Адельгейду! Помню эту хижину в цветнике на берегу моря — этот голубой, опаловый цвет вечернего неба — эту песню рыбака... Адельгейда стояла на дикой скале; арфа была подле нее; она пела — я слушал, не видал, как скрылась она, и на другой день напрасно искал я безвестной моей певицы. Но она была тогда не то, что теперь, и в ее образе я не узнал тогда души моей...

Может быть, она и не заметила встречи со мною, так как, может быть, она забыла тот мир, где прежде, до Италии, мы жили некогда с нею нераздельным, одним бытием. А! что

Италия перед тем миром? Муравейник, на котором расцвела бедная незабудка! Этот мир... немного описаний его найдешь ты у Шекспира, еще у Мильтона... еще у Тасса... еще у Фирдуси... Но все это так мало и недостаточно. На Востоке есть предание, что очарованные райские сады не скрылись с земли, но только сделались невидимы, переносятся с места на место и на одно мгновение делаются иногда видимыми человеку. Есть минуты, когда в них можно войти, подышать их райскими ароматами, напиться жемчужной живой воды их, отведать их золотистого винограда; но они тотчас исчезают, переносятся за тысячи верст, и счастливец остается или на голой палящей степи Ю<га>, или на холодных льдах Севера... В этой-то невидимой стране было существо, которое теперь бродит двойственно по земле под именем Антиоха и Адельгейды. Шреккенфельд, мнимый отец половины меня, — злой демон: он очаровал Адельгейду и дал ей отдельное бытие. Мысль неба хранилась в моей половине души, но это был луч, упавший в бездну мрака. Адельгейда, заклятая демоном, ничего не поймет, пока я не ска-

жу ей волшебного слова: "Люблю тебя, Адельгейда, половина души моей!" Когда она сознает себя и скажет мне: "Люблю тебя, Антиох!" — тогда очарование разрушится. Предчувствую, что Шреккенфельд понимает опасность, что он употребит все волшебство свое... Но я обману его, я украду у него самого себя. Мне стоит только напомнить Адельгейде о давно минувшем мире, о нездешнем бытии нашем... тогда... но я не могу предвидеть будущего: ведь я человек и потому не знаю, как свершится таинственный союз души моей: останемся ли мы в мире или, говоря по-человечески, умрем — ведь мне все равно... Но мне надобно подумать, поступить осторожно... перечитаю еще раз Бема и Шведенборга. У них это описано довольно подробно и хорошо. Между тем сам демон мой дается в хитрый обман мой: я притворюсь ему другом, и потом..."

Бродячие глаза Антиоха устремились на черкесский кинжал, висевший у него на стене. Он содрогнулся, подумал. "О, нет! не то, совсем не то!" — сказал он, сел за столик свой и придвинул к себе деловые бумаги.

"Надобно поработать немного, Леонид, — промолвил он, улыбаясь, — завтра день доклада директору. Прощай!"

Я пробыл еще несколько времени у Антиоха. Он не говорил ничего более об Адельгейде, спокойно занимался бумагами, подробно рассказывал мне содержание их и то, что хочет писать.

Несколько раз щупал я себе голову, идя домой, где меня ожидали также дела. Слова друга моего были слова безумца; но их стройность, порядок идей и то, что он превосходно говорил мне потом о своих обыкновенных занятиях, совершенно смешивали меня. "Что же это такое? — спрашивал я сам себя. — Неужели в самом деле это закрывали жрецы Изиды непроницаемым покровом, и только безумие есть истинное проявление мудрости и откровение тайн бытия?"

Утром встретился я с Антиохом в нашем департаменте. Кто не знал случившегося с ним, тот не заметил бы ничего. Только глаза его были ярче обыкновенного; но он говорил прекрасно, умно, был даже по-прежнему коллоквиал и насмешлив. Однако ж кто-то нечаянно

произнес имя Адельгейды — об ней часто говорили наши товарищи. Антиох вздрогнул, как будто от электрического удара; но он смолчал, и улыбка оживила лицо его.

На другой день, утром, пришел я к Антиоху. Слуга его отворил мне дверь.

"Не велено никого пускать", — сказал он.

"И меня?"

"Об вас ничего не сказано".

"Пусти же".

"Но у барина сидит какой-то неизвестный мне господин, и они занимаются чем-то".

Антиох услышал мой голос, вышел сам и ввел меня в свой кабинет. Там сидел у него Шреккенфельд.

Друг мой казался спокойным, тихим, любезным, ласковым; на столе разложены были разные мистические сочинения, расставлены были разные физические инструменты. Давая мне знаки глазами, чтобы я молчал, Антиох просил Шреккенфельда продолжать. Шреккенфельд казался совершенно занятым предметом разговора, как будто не замечавшим ни знаков Антиоха, ни моего присутствия. Они говорили по-итальянски. Худо разумея

ЭТОТ ЯЗЫК, Я, ОДНАКО Ж, ПОНИМАЛ, ЧТО РЕЧЬ ИДЕТ О ТОМ, ЧТО ВСЕГДА УВЛЕКАЛО МОЕГО ДРУГА. ТАИНСТВЕННАЯ ФЕОСОФИЯ, СЕМЬ ЗЕФИРОТОВ, СОЛОМОНОВ ХРАМ, СЛИЯНИЕ ДУШ, ВЫСШЕЕ СОЗЕРЦАНИЕ НЕБА И ЗЕМЛИ — ВОТ ЧТО ИЗЪЯСНЯЛ ШРЕКЕНФЕЛЬД, ПО ВРЕМЕНАМ РАССКАЗЫВАЯ О РАЗНЫХ ЛЮБОПЫТНЫХ ОПЫТАХ И ПРИЛОЖЕНИЯХ. НАКОНЕЦ ОН ДРУЖЕСКИ РАСКЛАНЯЛСЯ И УШЕЛ.

"Ну, все идет, как надобно! — сказал мне тогда Антиох с радостною усмешкою — Представь себе, что этот демон решительно поддается мне! Теперь надобно только поступать осторожнее. Помаленьку начну я изъяснять Адельгейде скрытую от нее тайну до-бытия земного. Нечего делать! Таков человек — падший ангел, в земной своей оболочке, — что ему надобно начинать говорить обыкновенными идеями. Яркий свет, вдруг блеснувший, может ослепить человека. И на солнце глядят сквозь закопченное стекло, а что свет солнца нашего против того света! Стану увлекать Адельгейду словами любви, стану говорить ей о дружбе, о неземных идеалах земного счастья, как будто счастье может быть на этой земле! Мне забавно, что я буду казаться влюб-

ленным, тихонько вздыхать, шептать: "Милая Адельгейда! Люблю тебя!" Буду произносить эти слова, как произносят их все люди, не понимая волшебного их смысла, не зная даже того голоса, каким надобно произносить их. "Люблю!" — говорить Адельгейде: "люблю", когда я только ею и существую, и если бы не было Адельгейды, так все равно, что одна половина меня ходила бы по петербургским тротуарам! Вот забавный был бы гуляка, Леонид! Вообрази себе половину туловища и головы, с одной рукой, с одной ногой, и этот урод прогуливается, смотрит одним глазом, нюхает табак, жмет руку знакомым. А между тем такие душевные уроды ходят вокруг нас, живут, говорят и никто не смеется над ними..."

* * *

Спрашиваю: что мог я сделать? Чем посоветовать моему другу? Я терялся в размышлениях. Лечить можно только то, на что известны лекарства; но целый мир врачей до сих пор не умеет лечить душевных болезней. Бедные медики заботятся только о теле и производят опыты только над трупами телесными. Ан-

тиох был болен душою; но кто мог когда-нибудь разанатомировать труп души и сказать, чем можно пособить в той или другой душевной болезни? Меня утешала еще несколько мысль, что я не видел перемены ни в здоровье, ни в действиях Антиоха. Напротив, он расцвел, казалось, новым здоровьем, был весел, мил, одевался щегольски. Но он решительно не стал ходить никуда, кроме Шреккенфельда. Там, запершись с этим шарлатаном, просиживал он целые часы, или дома также запирался с ним. Они казались друзьями совершенными. Я старался оправдывать друга моего перед знакомыми, спрашивавшими меня, что сделалось с Антиохом. Но скоро все заметили, что Антиох беспрестанно бывает у Шреккенфельда; начали говорить об этом; клубок сплетней навертывался более и более, перекатываясь от одного к другому, и сделался наконец таким огромным шаром, что задавил всякую осторожность. Как обрадовались все те, кого уничтожал прежде Антиох своим превосходством! Какими острыми бритвами явились язычки самых милых девушек! Каждая из них говорила о привязан-

ности Антиоха к бродяге, актрисе, певице, бог знает к чему, и в словах каждой ясно видна была мысль: "Видите ли, он презирал мною потому, что недостойн был моей любви и хорошо понимал это!" А друзья, друзья? Как верно сказал наш поэт, что

*...нет презренной клеветы,
На чердаке вралем рожденной
И светской чернью повторен-
ной,
Что нет нелепицы такой,
Ни эпиграммы площадной,
Которой бы ваш друг, с улыб-
кой,
В кругу порядочных людей,
Без всякой злобы и затей,
Не повторил стократ ошиб-
кой...*

О, друзья платили за злословие женщин и девушек самую чистую монетою: и легкое словцо мимоходом, и двусмысленная улыбка при имени Антиоха, и полный рассказ, с прибавкою злобных догадок, и отвратительное сожаление об Антиохе как о человеке весьма умном и любезном, — все было истощено и всего казалось еще мало за прежнее! Мужчи-

ны были рады мстить ему даже и за то одно, что, по всем слухам, Антиох успел, в чем не успевали другие, — успел очаровать красавицу и обмануть бдительность отца ее.

Бедная Адельгейда! как об ней говорили... не стану повторять вам! Все, что только можно сказать о самой развратной кокетке, было сказано...

Между тем я был свидетелем обхождения этой странной девушки с Антиохом. Он сделался у отца ее домашним человеком, часто обедал, просиживал вечера у Шреккенфельда, не скрывал любви, потому что нарочно не хотел скрывать ее, следуя постоянно своему плану. Как самая хитрая кокетка, он изучал, казалось, каждое свое движение, каждое слово, каждый взор свой. Весь ум, вся сила души Антиоха были устремлены к тому, чтобы высказать, дать выразуметь Адельгейде самую пламенную страсть. Сам Антиох думал, что он нарочно изучает все возможные тайны искусства любить. Он точно изучал даже все свои движения, когда расставался с Адельгейдою, обдумывал, что и как ему говорить; но, видя Адельгейду, он забывал все это, и вся ду-

ша его переливалась в его слова, взоры, движения — начинал ли он говорить Адельгейде о страданиях отверженной любви; исчислял ли бессонные ночи; описывал ли жгучесть слез, проливаемых безнадежною любовью в минуты всеобщего спокойствия; изображал ли страшные сны, терзающие нас за думы любви; говорил ли о нестерпимом чувстве ревности ко всему, что приближается к предмету страсти нашей, ко всему — даже к ветерку, который вьется в ее локоне; описывал ли, напротив, блаженство взаимной страсти, одушевление всего в глазах любимого и любящего человека; сказывал ли о высоте, на которую возносит человека любовь, уничтожающая все препятствия состояний, званий, лет, времени, все земные отношения — все это было пламенем, громом и молниею, Шекспировым сонетом, песнею испанской девы! Адельгейда слушала, молчала, говорила мало, потупляла глаза или неподвижно устремляла их на Антиоха, дышала тяжело, тяжко, бурно, как говорит Пушкин. Рука ее трепетала в руке Антиоховой. Иногда она казалась вся переселившеюся в его речи, жила только слухом.

Иногда казалась бесчувственной, непонимающей или нарочно перебивала его слова, нарочно заводила самый обыкновенный разговор и старалась увлечь, удержать при этом разговоре Антиоха, как будто боясь его слов о любви, о поэзии. Среди самого жаркого разговора она вдруг уходила и когда являлась после того, глаза ее были красны от слез. Шреккенфельд, по-видимому, ничего не замечал, был всегда весел, любезен. Между тем постепенно многое переменилось в его общественных отношениях.

Антиох, вскоре после сближения своего с ним, стал говорить, как отвратительна для него девушка, показывающая дарования свои публике; как тяжело сердцу человека, который полюбил бы такую девушку, видеть, что она делит бесценные наслаждения сердца и души с бездушною толпою. Шреккенфельд сначала заспорил, говорил, что человек, который скрывает данные ему от бога дарования, не передает их в полноте людям, лишает людей высоких наслаждений изящными искусствами, похож на недостойного скупца. "В одном человеке должно сосредоточить весь

мир", — говорил Ан-тиох. "Эгоизм непрости-
тельный!" — возражал Шреккенфельд. Но
вскоре он согласился, и Адельгейда перестала
играть на арфе, петь и декламировать перед
публикою. Она даже не являлась на публич-
ных вечерах Шреккенфельда и оставалась в
своей комнате, где нередко в это время были
с нею Антиох, я, двое-трое знакомых или ста-
рая угрюмая женщина, называвшаяся ее тет-
кою. Адельгейда пела, играла для нас одних,
но ее игра и пение были тогда бездушны, хо-
лодны и изредка только одушевлялись преж-
ним восторгом. Она потеряла душу — можно
было сказать, смотря на нее теперь и знав-
ши ее прежде. Впрочем, Адельгейда и не мог-
ла по-прежнему петь и декламировать даже
потому, что в здоровье ее произошла видимая
перемена: грудь ее стала слаба, дыхание тя-
жело. С тех пор, как Адельгейда перестала по-
казываться, вечера Шреккенфельда потеряли
свою прелесть; вообще стали менее ходить к
нему и потому, что клевета неустанно черни-
ла самого Шреккенфельда и все, что его окру-
жало, что он делал. На частные вечера явля-
лись по-прежнему, но здесь оказалась пере-

мена. Множество шалунов стало собираться у Шреккенфельда; карточная игра усилилась. Часто происходили сцены буйные, и только хладнокровно, необыкновенный ум и ловкость хозяина могли удерживать дальнейшую огласку и неприятные последствия.

* * *

"М<илостивый> г<осударь>,- сказал мне однажды директор нашего департамента, когда я пришел к нему с бумагами, — вы человек молодой, и хорошая репутация должна быть для вас драгоценна. Бывши другом вашего почтенного родителя, я долгом почитаю предостеречь вас и заметить вам, что до меня дошли весьма неприятные для вас слухи".

Я смотрел на него с изумлением.

"Мне сказали, что вы пристрастились к карточной игре и посещаете общества, не делающие чести вашему имени".

Негодование взволновало мою кровь.

"Я замечаю также, что вы не по-прежнему прилежны и слишком увлекаетесь знакомством человека, который может вам повредить, — г-на Антиоха".

Его знакомство могло бесчестить меня!!

"Г-н Антиох человек богатый, — хладнокровно продолжал мой директор, — он может negliжировать службою и своими поступками, хотя и ему, если вы друг его, должны бы вы посоветовать быть осторожнее".

Директор хорошо знал характер Антиоха: один взгляд заставил бы его немедленно подать в отставку, а у директора была дочь, перзрелая Агнеса, лет двадцати семи; он был притом по уши в долгах, и две тысячи душ Антиоха были такою для него рекомендацией), что милости сыпались на него и заставляли товарищей завистничать.

Я хотел оправдаться, хотел говорить смело, но покраснел и смешался, когда директор упомянул имя Шреккенфельда и Адельгейды.

"Говорят, что вы бываете у этого шарлатана и что г-н Антиох находится даже в связи с его развратною дочерью. Кто не шалил смлода? И даже кто не перебесится, того добродетель ненадежна; но всему, сударь, есть мера. Знайте, что этот человек, этот бродяга Шреккенфельд, становится подозрительным и полиция уже присматривает за ним и за теми, кто к нему ходит. Говорят, что он обыгры-

вает наверную, а, может быть, что-нибудь и хуже — остерегитесь..."

Нам помешали продолжить разговор. С отчаянием увидел я, куда бедственная судьба завлекла Антиоха. Мог ли я теперь оставить его? Как мог я раскрыть ему глаза? Как разубедить порядочных людей, что самая гнусная клевета очерняла Адельгейду? Как можно было растолковать им состояние души Антиоха? В то же время я не мог скрыть от самого себя, что слухи об отвратительном Шреккенфельде могли быть, хотя отчасти, правдивы и что этот человек был способен на всякое злое дело. Я не знал тогда, что бедствие было уже близко от моего несчастного друга — ближе, нежели я воображал...

В число людей избранных, друзей своего дома, Шреккенфельд допустил одного дерзкого молодого офицера, богача и шалуна отъявленного. Антиох, я, несколько артистов, этот офицер и двое друзей его обедали у Шреккенфельда. За столом лилось шампанское. Офицер пил много; Антиох не пил почти ничего: он сидел подле Адельгейды и разговаривал тихо, с особенным жаром среди общего шум-

ного разговора. Адельгейда слушала его, вздыхала, краснела — в первый раз Антиох говорил ей тогда о своей безумной идее бытия прежде жизни... Видно было, что удивительный разговор их и заметное волнение Адельгейды приводили офицера в большую досаду. Еще за столом он позволил себе несколько дерзостей на счет Адельгейды. После обеда он предложил банк, бросил кучу денег товарищу и сам старался сесть подле Адельгейды. Холодность ее совершенно взбесила его; он позволил себе несколько таких слов, от которых Адельгейда с ужасом вскочила и отбежала от него. Шреккенфельд принужден был вступиться. Наглец сделался груб. Шреккенфельд сам разгорячился и забыл себя.

"Бродяга, шарлатан! — вскричал офицер, — я прибую тебя, и, в доказательство, как мало уважаю я тебя, Адельгейда должна поцеловать меня сейчас или ты получишь пощечину..." — Он бросился к Адельгейде. Она помертвела и лишилась чувств...

"Прочь!" — вскричал Антиох, молчавший до сих пор и не принимавший никакого уча-

ствия в ссоре. Сильною рукою оттолкнул он дерзкого. В неистовстве бросился на него офицер.

"Понимаешь ли ты, подьячий, что должно тебе делать?" — вскричал он.

"Не знаю, понимаешь ли ты, пьяный буян, что ты делаешь", — отвечал горячо Антиох.

"Пистолет или шпагу? Выбирай немедленно", — кричал офицер.

Мы хотели утишить ссору, но все было тщетно. Соперники не слушали, не хотели ни на минуту откладывать. С отчаянием в душе, я должен был сопровождать моего друга за город. Дорогою Антиох не говорил со мною ни слова, и тогда только, как стали заряжать пистолеты, он обнял меня и сказал: "Теперь я понимаю еще более загадку жизни: Адельгеида умрет, и смерть соединит меня с нею. Прости, радуйся счастьем друга твоего!"

Весело стал он на барьер, еще раз пожал мне руку... Состояние мое было неизъяснимо... Раздался выстрел — пистолет выпал из руки Антиоха. Я бросился к нему. "Странно! Ничего, — сказал он мне, — я ранен только!"

Соперник его лежал на земле: пуля изло-

мала у него ребро; у Антиоха пуля только скользнула по плечу.

Уже вечером возвратились мы в Петербург. Антиох казался глубоко задумчивым и опять ничего не говорил со мною. Я не имел сил сказать ни одного слова. Антиох велел ехать прямо к Шреккенфельду. Я хотел возражать. "Жизнь и смерть моя соединились в этой минуте! — воскликнул Антиох. — Или не препятствуй мне, или оставь, оставь меня, Леонид! Оставь навсегда!" "Ни за что в мире!" — вскричал я.

* * *

Шреккенфельда не было дома. Не было никого из гостей — комнаты были пусты, темны. "Я хочу видеть девицу Шреккенфельд!" — сказал Антиох слуге, оттолкнул его и пошел прямо к ней. Она сидела в круглой комнате, на диване, бледная, едва живая. Старуха тетка была подле нее. Едва отворилась дверь, едва вошел Антиох—"Мой Антиох!" — вскричала Адельгейда и бросилась в его объятия.

Да, величайшая радость походит на сумасшествие. Два несчастные существа эти сжали друг друга в объятиях, и продолжитель-

ный поцелуй, в котором отозвались все их чувства, вся жизнь, запечатлел роковой союз их...

Антиох сел на диван, Адельгейда подле него, голова ее склонилась на плечо Антиоха, глаза ее устремлены были на его глаза, рука ее обвилась вокруг его шеи... Он начал говорить — Адельгейда также говорила ему, задыхаясь, спеша, как будто стараясь поскорее высказать все и боясь, что после того потеряет навсегда дар слова...

Я сидел в стороне, смотрел на них, и — я не охотник плакать, но слезы невольно капали из глаз моих...

Не думайте, что они объясняли друг другу свои чувства — нет! Это были беспорядочные, отрывистые слова: память прошедшего, блаженство настоящего, мечта будущего, пламень сердца, жар души, тихий поцелуй, тяжкий вздох — мысль в образах поэтических, слово в фантастических идеях, гармонические звуки неба, жизнь земная в высоких идеалах! Что говаривал мне прежде Антиох о своих безумных мечтах, казалось льдом перед тем, что он говорил теперь Адельгейде...

Адельгейда была очаровательна в неестественном состоянии души своей; Антиох одушевлялся чем-то неземным...

Растворилась дверь, и вошел Шреккенфельд. С пронзительным воплем бросилась Адельгейда от Антиоха, и лицо ее, горевшее огнем любви и восторга, побледнело, как будто она увидела перед собою демона адского... Глаза ее сделались дики...

Шреккенфельд казался смущенным, расстроенным. Антиох глядел на него неподвижными глазами, не вставая с своего места.

"М<илостивый> г<осударь>,- сказал Шреккенфельд, — кажется, дальнейшие объяснения не нужны? Честь моей дочери погибла, и несчастная история обесславит ее, погубит меня, если вы не сделаете того, к чему долг обязывает каждого благородного человека".

"Что говоришь ты, воплощенный демон? — воскликнул Антиох, быстро вскакивая с дивана. — Что сказал ты?"

"Адельгейду никто не мог поцеловать, кроме ее жениха. Вы вошли в дом мой под видом друга; я позволил вам вступить в домашний круг мой: вы поступили бесчестно, вы употре-

били во зло мою доверенность, вы — оболестили дочь мою!"

Антиох затрепетал.

"Мерзавец! — вскричал он. — Злой дух, демон тьмы! Выбирай лучше слова свои! Или ты думаешь, что я не могу уже этою рукою навести пистолет на твою голову и разбить гадкую форму, под которою обладаешь ты половиною души моей!"

"Вы должны жениться на моей дочери, м<илостивый> г<осударь>, или — вы бесчестный оболеститель!"

"Жениться, — сказал тихо Антиох, водя пальцем по лбу своему, — жениться! Когда она сам я? Какая досада: я совсем не понимаю теперь этого слова! Какое бишь его значение? Heiraten [2], se marier... [3] Но ведь нельзя жениться даже на родной сестре, не только на собственной душе своей?.. А, злой дух! Ты смеешься надо мною!"

Шреккенфельд изумился словам Антиоха.

"Говорите яснее, м<илостивый> г<осударь>,- сказал он. — Я отдаю вам руку моей Адельгейды, или вы будете иметь дело с раздраженным отцом: я природный дворянин

немецкий".

"Адельгейда будет моя! Ты отдаешь ее мне?" — поспешно спросил Антиох.

Шреккенфельд горестно улыбнулся.

"Разумеется, если она будет вашей женою, то она будет вашей, и я отдам ее вам... И что мне теперь в ней: спасение ее зависит от вас... я погубил ее и себя..."

"Ты выдумываешь какие-то условия — я их не понимаю; но это последний обман твой. Если с твоего согласия она будет моею, тогда власть твоя уничтожится. Руку, Адельгейда! Скорее ко мне, Адельгейда, моя Адельгейда!"

Шреккенфельд хотел взять Адельгейду за руку и подвести к Антиоху. Но с смертельным ужасом отступила Адельгейда.

"Позорный обман! — вскричала она. — Никогда!"

Она упала на колени перед Антиохом.

"Прости меня, мой Антиох! прости, ради бога, прости! Я недостойна тебя, великодушный, благородный человек, существо неземное! Этот старик увлекал тебя, я принуждена была участвовать в его обмане. Он хотел купить твое богатство мною, хотел завлечь те-

бя, велел притвориться в тебя влюбленную... Душа моя противилась этому. Сколько плакала я, сколько раз хотела открыть тебе весь умысел... Но ты сам сделался моим ангелом-хранителем: ты растолковал мне тайну бытия моего, ты сказал мне, что я тебе родная, что я половина души — я твоя, твоя, Антиох! Никто, ничто не разлучит нас. Если это называется любовью, я люблю тебя, Антиох, люблю, как никогда не любили, никогда не умели любить на земле! Прости, что я не понимала этого прежде и повиновалась этому человеку..."

Адельгейда дико засмеялась: "Он уверил меня, что он отец мой!"

Изумление заставило всех нас безмолвствовать. Но последние слова Адельгейды взбесили Шреккенфельда.

"Дочь недостойная!" — вскричал он.

С воплем бросилась Адельгейда в объятия Антиоха.

"Спаси, спаси меня, мой Антиох! Я думала, что этот демон отец мой, и повиновалась ему! Зачем не сказал ты мне прежде тайны моего бытия!" "Моя Адельгейда!"

"Твоя, твоя, не правда ли? Навек твоя? А не дочь его, этого демона? Разве ты не знаешь, что если ты назовешь меня твоею, то я никогда уже не разлучусь с тобою? Мы переселимся туда, где нет людей, где нет ни Адельгейд, ни Антиохов, ни Шреккенфельдов — где я и ты одно, где дышат любовью, где жизнь есть одна радость, где нет ни земли, ни неба — мой Антиох! Dahin, dahin (туда, туда)!"

Она лишилась чувств, крепко обхвативши руками Антиоха. Спешили помочь ей, но тщетно: сильный обморок продолжался. В отчаянии бегал тогда по комнате Шреккенфельд. Антиох сидел подле дивана, на который положили бесчувственную Адельгейду; он не говорил ни слова, держал ее руку, ждал, казалось, когда откроет она глаза, но ждал тихо, спокойно, не оказывая ни малейшего знака ужаса — только бледен был он не человечески...

Явился лекарь, за которым посылал Шреккенфельд, и объявил, что у Адельгейды сильная горячка. Она открыла глаза, с ужасом поднялась и вскричала: "Где Антиох! Неужели он ушел!"

"Он здесь, Адельгейда!" — отвечал ей Антиох.

Радость блеснула в глазах Адельгейды.

"Не уходи, не уходи от меня, мой Антиох, жизнь, душа моя — больше, нежели жизнь, — жизнь проходит, любовь остается!"

Глаза ее устремились тогда на Шреккенфельда.

"Ах! и он здесь, здесь! Ради бога, спаси меня, Антиох!" — закричала она и снова лишилась чувств.

* * *

Лекарь советовал Шреккенфельду удалиться. В отчаянии вышел он в другую комнату. Я последовал за ним. Мне жалко стало этого несчастного человека: он не был уже коварным, отвратительным шарлатаном — он был отец, он плакал!

Что сказать вам? Я видел раздирающее душу зрелище: я видел разрушение Адельгейды, прекрасного, юного, цветущего создания! Подле смертного одра ее сидел мой друг в явном помешательстве, о котором я не мог более сомневаться. Три дня и три ночи сидел он, почти не отходя от Адельгейды, забываясь сном

на минуту.

Я терял милых мне людей, видал страшно умирающих. Да, всегда —

*...страшно зреть,
Как силится преодолеть
Смерть человека...*

Но никогда не видал и не увижу я ничего подобного, столь терзательного, мучительно-го! Смертельная, злая горячка несколько не безобразила Адельгейды: щеки ее пылали, глаза горели, распущенные ее волосы вились локонами по плечам и груди; но со второго дня лекарь объявил, что смерть ее неизбежна. Она не отпускала от себя Антиоха, и если он, уходил на минуту, она начинала жаловаться, плакать, как дитя, и Антиох был беспрерывно подле нее. В первые сутки Адельгейда беспрестанно говорила с ним о его безумных мечтах, о своей смерти, как о своем вечном союзе с половиною души своей, улыбалась, смеялась, в бреду мечтались ей прелестные сады, где ветерок навевает любовь, где слезы радости освежают землю, где думы счастья спеют в гроздах, где поцелуи летают

певистыми птичками... Иногда она снова начинала просить прощения, что участвовала в обманах отца своего. Тогда раскрывала она всю прелестную, ангельскую свою душу и слезами смывала с нее легкую тень вины своей...

Шреккенфельд сидел в другой комнате, слышал все, не смел появиться перед дочерью и терзался муками совести и раскаяния. Он сам рассказал мне все. Историю его, дополненную разными сведениями, от других собранными, я объясню вам коротко.

Он был сын немецкого дворянина и получил порядочное состояние. Страсть к ученью отвлекла его от всех других занятий, а безрассудная мысль о философском камне превратила все его состояние в газ и дым. Ловкий, оборотливый, он вошел тогда в тайные немецкие общества, был участником всех тугендбундов и принужден был бежать в Италию. Там женился он и родилась его Адельгейда. Связи его по тайным обществам доставляли ему средства жить, но карточная игра разоряла его. Крайность заставила его сделаться карточным обманщиком, ссора с одним сильным итальянским вельможею заста-

вила бежать из Италии. Он решился сделать-ся фокусником и проехал Европу, показывая опыты фантасмагории, химии, физики. Пользуясь необыкновенными дарованиями дочери, которую любил страстно, он заставлял играть и петь свою Адельгейду перед публикою; но связи и долги отовсюду гнали его. Приехав в Петербург, он начал свои обыкновенные представления, заметил Антиоха и угадал страсть его к Адельгейде. Мысль, что дочь его может сделаться женою богатого русского дворянина, заставила Шреккенфельда употребить для сего всю хитрость, весь ум свой. Он особенно воспользовался мистическим расположением Антиохова характера и заставлял Адельгейду оказывать ему внимание, не понимая, что благородная душа Адельгейды ужасалась притворства, что Адельгейда любила уже Антиоха страстно, но чувствовала, как низко, недостойно ее завлекать Антиоха в сети. Она пренебрегала своим униженным званием, и отчаяние более всего вдохновляло ее, когда она должна была выходить перед публику. Тем выше становился в глазах ее Антиох, великодушный, полусума-

спешивший от любви к ней, пламенный. Ей хотелось показать ему все несходство положений их, она страшилась мысли быть его женою, думая, что унизит, обесславит собою Антиоха. В этом отношении, в сознании высокой души своей и низкого звания, несчастного положения отца своего и себя самой, Адельгейда точно была светлый ангел, очарованный демоном, которому не может он противиться. Видя дерзость, вольное обхождение мужчин, приходивших к ее отцу, положение которого становилось более и более затруднительно, она трепетала ежеминутно. И каким ангелом-спасителем показался ей Антиох, когда он так смело заступился за нее! Когда она опомнилась, узнала, что Антиох поехал драться с наглецом, оскорбившим ее, тогда узнала она и всю меру любви своей к нему. "Я не переживу его! Боже! спаси Антиоха и возьми жизнь мою!" — говорила она, стоя на коленях и молясь со слезами. Антиох явился; радость ее при виде Антиоха перешла в совершенное безумие... Жить после сего было невозможно...

На другие сутки Адельгейда говорила ма-

ло, но беспрестанно глядела на Антиоха, держала руку его, радостно улыбалась, шептала ему: "Dahin, dahin! Скоро исполнится все, что говорил ты мне... Ведь ты меня простил? Ведь ты мой Антиох?"

Kurz ist der Schmerz und ewig ist die Freude!
[4]

Это были последние слова, Адельгейда казалась после сего забывшеюся. Утром, на четвертый день, Шреккенфельд привлачился к ее постели и, стоя на коленях, обливался слезами. Адельгейда вдруг открыла глаза — брала взор на отца своего, улыбнулась — взглянула на Антиоха, хотела приподняться, хотела протянуть к нему руку — и не могла — от Антиоха подняла она глаза свои к небу и закрыла их навсегда...

Состояние Антиоха во все это время можно было назвать бесчувственным. Когда, отлучаясь на короткое время из жилища Шреккенфельда, я возвращался в него, постоянно находил я Антиоха неподвижного близ постели Адельгейды; когда, разделяя с ним ночь, засыпал я беспокойным сном и потом просыпался — при слабом мерцании лампы я видел Ан-

тиоха, неподвижно облокотившегося на изголовье Адельгейды, считавшего каждое ее дыхание. Казалось, что для него ничего более не существовало, и он сам не чувствовал ни себя, ни других. Когда подходил я к нему, желая уговорить его успокоиться, он пожимал мою руку, давал мне знак молчать и снова обращался к Адельгейде. Никто, кроме его, не подавал ей ни питья, ни лекарства: ни от кого более не брала она их. Понимал ли Антиох ужас своего положения? Не думаю. Он не показывал ни малейшего знака чувства и говорил мало, даже и с самою Адельгейдою, как будто боясь пропустить какое-нибудь слово ее, как будто наслушиваясь ее речей, наглядываясь на нее. По мере того, однако ж, как Адельгейда ослабевала, Антиох более и более начинал понимать себя, складывал руки, судорожно сжимал их, обращал взоры к небу и потом ко мне, как будто спрашивал меня: "Что это такое, друг мой?"

Адельгейды уже не было, а он все еще держал руку ее. "Отчего так озябла она? Посмотрите: рука ее холодна, как лед! Она вся побледнела!" — сказал наконец Антиох и в ис-

пуге вскочил с своего места. "Леонид! Посмотри, что с нею сделалось? Посмотри!" — говорил он, толкая меня к Адельгейде. Я обнял его со слезами. Антиох не плакал, хотя глаза его были красные и опухшие. "Она не может умереть, — говорил он, — не может, потому что я еще жив. Что же это такое? Какой это странный перелом болезни? Эти доктора ничего не понимают в психологических явлениях!" Он схватил себя за волосы и вырвал клочок их, не чувствуя, что делает. В бессилии склонился он ко мне, глаза его закрылись — он был бесчувствен и неподвижен. Признаюсь: я желал ему смерти... Но смерть надолго забыла Антиоха.

* * *

Бесчувственного перенесли мы его в карету и на руках вынесли из кареты в его квартиру. Доктор, призванный мною, сказал, что это не обморок, что Антиох спит... Не помню, как-то по-латыни назвал он этот сон. Только это не был сон смерти. Ровно через сутки Антиох проснулся, бодро встал, надел свой всегдашний шлафрок, казался задумчивым, глубоко размышляющим, поглядел на меня, но не ока-

зал ни печали, ни радости, никакого признака жизни. Более часа ходил он по комнате, когда пришел доктор и хотел посмотреть его пульс. Молча Антиох подал ему руку, но не сказал ни слова. Я стал говорить с ним. Он смотрел на меня, не сказал ничего и опять начал ходить. Потом сел он за свой столик, вынул десть бумаги, взял перо, приготовился писать, остановился, долго думал, бросил перо, взял карандаш, тер лоб свой с нетерпением. Так прошло несколько часов. "Завтра!" — сказал наконец Антиох задумчиво, бережно спрятал бумагу, лег на диван свой и скоро заснул.

Пришедши на другой день, я застал Антиоха уже вставшим. Он опять сидел за своим столиком, держал перо, думал, не отвечал на мои слова. Лекарь, приставленный к нему, сказал мне, что всю ночь Антиох проспал каким-то бесчувственным сном.

Целый день просидел он опять за своим столиком и иногда только прохаживался по комнате, думая, молча, потом опять садился и думал. Видно было, что он слышит слова и видит людей, потому что, когда мы стали про-

свить его принять лекарство, он с досадою и поспешно выпил его. Когда я говорил ему о прежней дружбе нашей, он поглядел на меня, но не сказал ни слова, как будто человек, ничего не понимающий.

Так прошла целая неделя, и в Антиохе не было никакой перемены. Он вставал поутру, не обращая ни на что внимания, спешил сесть за столик свой и целый день просиживал за ним, держа то перо, то карандаш, задумывался, думал, печально прохаживаясь иногда по комнате, и вечером ложился спать, с глубоким вздохом произнося: "Ну, завтра!" Более не слышали мы от него ни слова.

Доктора, которым рассказывал я всю историю Антиоха, решили, что он в сумасшествии особенного рода, что лечить его нельзя обыкновенным образом, что обыкновенное лечение сумасшедших может только привести его в яростное безумие и что можно надеяться исцеления его со временем. Сон Антиоха всегда походил на бесчувствие смерти: его нельзя было разбудить; ел и пил он весьма мало, и то, когда принуждали его. Я нанял для него

квартиру на даче, в прелестном местоположении. Ночью, во время сна, мы, перевезли туда Антиоха. Он проснулся поутру, изумился, казалось, обгляделся кругом, но, увидев свой столик, бумагу, перо и карандаш, поспешно сел к столику и просидел целый день задумавшись, как будто стараясь что-то вспомнить. Вечером он лег по обыкновению спать и, проснувшись на другой день, опять просидел его за своим столиком. Идти никуда не хотел он, иногда с бесчувствием взглядывал в окно и тотчас отворачивался. Однажды веселое общество гуляющих проходило под окном его — он поглядел и отворотился к своему столику.

Мы испытывали лечить его музыкою. Когда раздались звуки арфы, Антиох бросил перо, стал слушать, но через минуту с негодованием покачал головою, опять перо и не оказывал более никакого внимания.

* * *

Так прошло несколько месяцев. Мне надобно было ехать из Петербурга; я препоручил Антиоха честному старику, который согласился жить с ним, и доктору, который хо-

тел навещать его каждый день.

Поездка моя была довольно продолжительна. Отправленный по казенной надобности, я не мог иметь постоянной переписки. Меня уведомяли по временам, что Антиох остается в прежнем положении, но — не все сказывали мне!

Во время отлучки моей приехали в Петербург родственники Антиоха и взяли в управление все имение его. Бесчеловечные перевезли Антиоха в дом умалишенных. Честный старик, приставленный мною, умолил их взять для него особую комнату и перевез туда его столик, бумагу, перо и карандаш. Антиох проснулся на другой день в доме сумасшедших и, не обращая ни на что внимания, сел думать за свой столик.

Великий боже! Я увидел Антиоха и ужаснулся. Он вовсе не узнал меня, взглянул на меня, когда я пришел, и снова принялся думать. Он был худ; кожа присохла к костям его; длинная борода выросла у него в это время, и голова его была почти седая. Только глаза, все еще блиставшие, хотя желтые, показывали тень прежнего Антиоха. Прежний пре-

красный шлафрок его, висевший лоскутьями, был надет на него.

Я не хотел переводить Антиоха никуда: не все ли для него было равно, в доме ли сумасшедших был бы он или у меня, потому что уж ничто не могло ни занять, ни развлечь его, а нескромное любопытство людей могло быть для него тягостнее в моей квартире. На лето хотел я опять нанять дачу и туда взять с собою Антиоха. Доктора давно отказались лечить его.

Ровно через год после смерти Адельгейды, в одно прекрасное утро, когда солнце ярко осветило комнату Антиоха, он проснулся, поспешно сел за свой столик и вдруг радостно закричал: "Это она, это она!" Приставник бросился к нему. Указывая на слово, написанное на бумаге, Антиох с восторгом говорил ему: "Видишь ли, видишь ли? Это она, это душа моя — я вспомнил, вспомнил таинственное слово, которым могу призвать ее к себе... Мне кажется, я долго думал об этом слове! Неужели ты его не знаешь? Теперь к ней, к ней!"

Приставник обрадовался, услышав первый раз Антиоха говорящего. Он думал, что Ан-

тиох излечился. Антиох долго, с наслаждением смотрел на написанное им слово, горячо поцеловал его, хотел встать и вдруг свалился опять на стул свой; голова его склонилась на бумагу; перо выпало из рук его...

Я прибежал опрометью, когда меня известили, и застал Антиоха еще в этом положении. Но он был уже холоден. На бумаге было написано его рукою: Адельгейда.

* * *

Леонид кончил свой рассказ. Мы все молчали. Читатели припомнят, что в числе слушателей были две девушки, одна веселая, с черными глазами, другая задумчивая, с голубыми. Веселая встала и пошла прочь, сказав:

— Он все выдумал. Так не любят, и что за радость так любить?

Леонид не отвечал ей ни слова, но, когда мы, мужчины, составили кружок и стали рассуждать всякий по-своему, Леонид придвинулся к другой девушке. Она плакала, закрывая глаза платком. Леонид взял ее руку и поцеловал украдкой, не говоря ни слова.

— Вы не выдумали? — сказала она, вдруг взглянув на Леонида.

— И не думал, — отвечал Леонид. — Неужели и вы скажете: так не любят"!

— О нет! Верю, чувствую, что так можно любить, но... Леонид?

— Если иначе не смеешь любить, скажи, милый друг: не блаженство ли безумие Антиоха и смерть Адельгейды?

Я не вслушался в ответ и не знаю, что отвечали Леониду.

1833[5]

Примечания

"Повелитель блох" (нем.)

[^^^]

Жениться (нем.)

[^^^]

жениться (Фр.)

[^^^]

4

Минутна скорбь — блаженство бесконечно!
Перевод Жуковского

[^^^]

Николай Алексеевич Полевой (1796–1846) — критик, теоретик романтизма, прозаик, историк, издатель журнала "Московский телеграф" (1825–1834). Новелла "Блаженство безумия" впервые напечатана: Московский телеграф, 1833, т. 49; подпись: "Н. П.", посвящение: ***. С незначительными изменениями вошла в кн.: Мечты и жизнь. М., 1833. Четыре части. В повести ощутимо влияние 9. Т. А. Гофмана. Фамилия "ученого шарлатана" значима: Schreckensfeld (Шреккенфельд) — долина ужасов (нем). Текст печатается по новейшему изд.: Николай Полевой. Избранные произведения и письма. Л., 1986. Сост., подготовка текста, вступ. ст. и примеч. А. А. Карпова.

Примечания А. Немзера

[^^^]